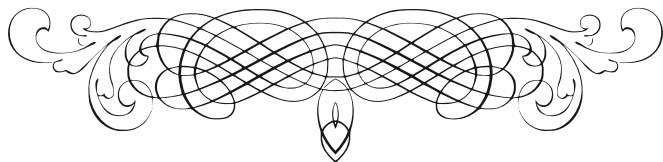


Елена Арсеньева

*БЕЗУМНАЯ
ЛЮБОВЬ*



Москва
Т8 RUGRAM
2021

УДК 82-311.2(02.055.2)

ББК 84.4

A85

Арсеньева, Е.

A85 Безумная любовь или Тайный грех императрицы / Е. Арсеньева. — М. : Т8 Издательские технологии / RUGRAM, 2021. — 180 с. — (Истории любви в истории России).

ISBN 978-5-517-05813-3

Глядя на императрицу Елизавету Алексеевну — скромную, удивительно застенчивую! — никто и представить бы не смог, какая страсть пылает в ее сердце. Брак с государем Александром I оказался для нее не слишком счастливым, однако она со смирением принимала свою участь... до тех пор, пока не потеряла голову, встретившись с красавцем кавалергардом Алексеем Охотниковым. Однако эта любовь неразумна, безумна, обречена. У Елизаветы есть тайная соперница, жаждущая внимания Алексея. И ее мстительность не знает границ!

BIC FR

BISAC FIC027050

© Елена Арсеньева, текст, 2021

© Яна Цилибина, обложка, 2021

© Т8 RUGRAM, оформление, 2021

ISBN 978-5-517-05813-3

© Т8 Издательские технологии, 2021

Пролог



Ненастной ночью октября 1806 года с крыльца одного не-
приметного дома на Сергиевской улице спустилась невы-
сокая полная дама и приблизилась к поджидающей ее карете.
Двигалась женщина с трудом, дышала прерывисто, словно от
крайней усталости или болезни. Поддерживал полуночную
путницу худощавый человек, в котором с первого взгляда мож-
но было узнать врача, да не просто врача, а именно полкового
лекаря — выправка его выдавала.

— Прощайте, доктор, — пробормотала дама чуть слышно,
и стало ясно, что она едва сдерживает слезы. — Не забудьте же
дать мне знать потом... когда все закончится.

— Все закончится не позднее, чем завтра днем, — утрюмо
ответил ее спутник. — Я не стану посылать вам никаких вестей,
простите великодушно. Ни к чему это. И лучше вам здесь боль-
ше не показываться, го... — Он замялся, как бы запутался в сло-
вах, а потом повторил с почтительным полупоклоном: — Луч-
ше вам здесь больше не показываться, госпожа.

Из-под края шали, прикрывавшей высокий лоб, блеснули
измученные глаза. Дама вновь сдержала слезы, но видно было,
с каким трудом ей это удалось.

— Скажите тогда ему... — начала она, но не договорила, а прикусила губу, покачнулась и положила руку пониже груди.

Доктор вздохнул: дама была беременна — этим и объяснялась ее полнота. Роды, по всему, могли начаться в любой момент. Ей ни в коем случае не следовало выходить в такую пору из дому и приезжать сюда!

Однако он понимал, что именно сегодня эта дама не могла не появиться здесь.

Длинными прохладными пальцами доктор перехватил ее левое запястье. Перчатка мешала, доктор почти не слышал пульса, но он и не ставил перед собой такой цели — его прослушать. Сейчас сердце страдающей женщины никак не могло биться ровно! Доктор хотел хоть немного успокоить ее своим прикосновением. Показать, что сочувствует ей всей душой, что сам переполнен горем, однако... Однако есть в жизни нечто, некое понятие или существо, сие уж каждый по-своему объясняет, против власти которого человек бессилен. Это — смерть. И доктор, и дама только что вышли из дома, в котором вступала в свои права смерть. И могли они сделать ничего иного, как покорно склониться пред нею, признав ее победу.

Наконец доктор со вздохом разомкнул пальцы на тонком запястье, открыл дверцу кареты и помог даме взойти туда и сесть. Она сразу откинулась на спинку диванчика, закрыла лицо левой рукой — и дала волю слезам. Рыдания ее глухо отдавались в сырой, ненастной тишине, и только завывание холодного ветра глушило их.

Дама так дрожала, что с трудом удерживала небольшую черную шкатулку, которую сжимала в правой руке. Доктор знал о том, что хранится там. В шкатулке лежали письма этой женщины: их она не столь давно написала тому, кого любила. Тому, с кем приезжала нынче проститься — и простилась навеки, ибо жизнь его закончится не позднее завтрашнего дня...

Тот человек вернул ей письма, ибо они были опасны для ее репутации. А может, даже и для жизни.

Доктор хотел еще что-то сказать, но говорить уж было нечего. И утешить плачущую ему было нечем. Он молча поклонился, хлопнул дверцей и приказал кучеру:

— Поезжайте!

Еще какое-то время он смотрел вслед канувшей в темноту карете и уныло прислушивался к удалявшемуся стуку колес.

* * *

— Бесы, бесы балуют! Сызнова катались по клумбе! Все цветы помяли! Что за притча?! Не позвать ли батюшку, чтобы сад освятил?

Елизавета открыла глаза. Высокий юношеский голос ворвался в распахнутое окно и спугнул сон, который только-только начал туманить голову. Сердце тревожно стукнуло.

«Все цветы помяли...»

— Мишка! Чего шумишь ни свет ни заря?! Государыню разбудишь! А ну, баламут, брысь отсюда!

Невольная улыбка тронула губы Елизаветы: голос хранителя тишины звучал громче, чем голос ее нарушителя. Она догадалась, что под ее окном переругивались садовник и один из его помощников.

— Охти мне! — еще пуще возопил тот, кого называли Мишкой. — Запаяматовал! Прости Христа ради, дяденька Прохор, прости меня, дурака!

— Да замолкни ты наконец! — вызверился «дяденька Прохор». — Ишь, отыскался племянничек! Кыш, сила нечистая!

— Вот! — не унимался Мишка. — И я говорю — сила нечистая. Бесы бесятся. На цветы гляньте! И уж которое утро так. Днем землю разрыхлю, цветочки распрямлю, ломаные уберу, рассаду свежую подсажу — и поутру все сызнова помято.

— Пошел вон! Пошел, кому говорено! Господа почивать изволят, а он тут разорался!

Елизавета снова усмехнулась. Даже если бы и в самом деле кто-то спал, то уже давно проснулся бы. Но, к счастью, сюда выходят только окна ее спальни. В самом деле — к счастью. Как

хорошо, что никто не слышит про эти смятые цветы! Умный и недоброжелательный человек мог бы догадаться...

О чем? Ну, она-то знает, о чем...

Да нет, не может быть, никому и в голову такое не придет! Чтобы императрица, вечно унылая, замкнутая, одинокая, — и...

И с этой мыслью Елизавета вдруг заснула — так внезапно, словно кто-то одним дуновением погасил свечу ее беспокойства. Усталость взяла свое. Скоро придет фрейлина и удивится, что государыня, птичка ранняя, так заспалась, — и разбудит ее. Но пока еще есть час-другой, чтобы забыться сном, который вернет ее к счастливому забытью...

Елизавета спала. Губы ее чуть дрожали, будто она что-то шептала или улыбалась. Садовник прогнал своего не в меру голосистого подручного, и ничто более не тревожило сна императрицы. Она не слышала, как скрипнул гравий на дорожке под чьими-то осторожными шагами. Шаги прошелестели и замерли под ее окном.

...Человек, пришедший под окна Таврического дворца, опасливо оглянулся и склонился к клумбе. В самом деле — все смято, а хрупкие незабудки, любимые цветы императрицы, и вовсе сломаны. Можно подумать, что здесь каталась-валялась собака. Но собаки рядом с императорским дворцом по ночам просто так не бегают: все они заперты или в покоях своих хозяев, или на псарне, а бродячие шавки сюда и близко не подходят. Нет, это не собака... Чуть в стороне от смятых цветов на земле отпечатался странный круглый след. И это не след лапы, а след каблука!

Человек глянул на свои ноги. На нем были сапоги точно с такими же каблуками. Он только недавно сошел с коня и еще не отстегнул шпоры. А вот и борозда от шпоры протянулась по земле...

Человек поднял голову. Все окна затворены, кроме одного — во втором этаже. Там опочивальня государыни Елизаветы Алексеевны.

Опочивальня... И окно ее — настезь... А след-то совсем свежий...

Хм...

Вот тебе и «хм»!

Человек бросился бежать. Теперь он не заботился об осторожности, спеша добраться до своего коня и гнать во всю прыть в Мраморный дворец. Гравий громко хрустел под его сапогами, но Елизавета спала так крепко, что ее ничто не беспокоило.

Однако сон ее оказался бы беззаботен куда менее, если бы она знала, что под ее окошком только что побывал человек по фамилии Баур. Сам по себе он ничего собой не представлял: лакей, лизоблюд, каких при дворе водилось множество (собственно, иных почти и не водилось), — но Баур значился адъютантом великого князя Константина, которому подражал во всем, вплоть до мелочей. А вот Константин...

О, это была фигура очень непростая! Непростая и опасная!

* * *

— Семенова перешеголяет Перлову, вот увидите!

— Ну, бросьте. Александрина чудо как хороша во всякой роли, а Семенова создана лишь для высокопарности.

— Ты думаешь, это высокопарность?! А вспомни, как дрожал ее голос, когда она говорила:

Как часто с берегов или с высоких гор
Я в море синее мой простирала взор!
Там каждый вал вдали мне пеною своею
Казался парусом, надеждою моею.
Но, тяжело опустясь к глубокому песку,
По сердцу разливал мне мрачную тоску...

Какая же это высокопарность? Истинное чувство! А как она смотрела на Фингала!

— Яковлев и в самом деле красавчик. Не будь он актер, дамы из-за него дуэли устраивали бы!

— Дамы? Дуэли из-за мужчины?! Не пережил бы, клянусь, раньше закололся бы кинжалом, когда б узнал, что моя, скажем, персона сделалась причиной дамской дуэли и такого падения бесподобной, чудной, обожаемой мною женственности!

— Павлов, ты не тревожься, голубчик, твоя персона причиной женского разлада не станет вовеки!

Кругом захохотали: вышеупомянутый Павлов был малолетним, худым, курносым, веснушчатым, при этом его добродушие казалось неиссякаемым, оттого он хохотал сейчас вместе со всеми.

Алексей Охотников тоже безотчетно улыбнулся, хотя настроение совсем не располагало к веселью. Нынче разъезд у Большого Каменного театра, который был возведен архитектором Тома де Томоном и считался самым прекрасным в Европе (говорили, что ничего подобного нет даже среди двадцати театров Парижа, которыми столица Франции скорее загромождена, чем украшена!), затянулся. Так всегда случается после премьер: зрители галерки и стоячих нижних мест переговаривались, перекрикивались, загораживая дорогу каретам, в которых разъезжалась сановитая знать. В зале было не до разговоров, такая там царил теснота, яблоку, прямо скажем, негде упасть: за билеты перекупщикам платили огромные деньги, за контрамарки давали взятки, превышающие даже стоимость билетов у перекупщиков, на стоячих местах уже за час до начала представления народ напоминал селедок, напиханных в бочку вниз хвостами и вверх головами с наивысшей степенью плотности, галерка грозила обвалиться под тяжестью набившихся туда жадных зрителей... В такой толчее мудрено разглядеть ту, которую так хотелось увидеть...

Алексей вздохнул. В той ложе, в которой *она* обычно бывала с мужем, ее нынче не оказалось. Супруга ее — тоже. Но это вовсе не значило, что ее не было в театре. Наташа — Наталья Голицына, кузина Алексея и наилучшая подружка его детства, юности и всей жизни — как-то, словно невзначай, обмолвилась, что иногда *она* является в театр инкогнито, переодевшись

так, что никому и в голову не придет заподозрить, будто дама, похожая на богатую вдову, еще не до конца снявшую траур, в темном, хотя и роскошном платье со скромным декольте, с небольшой берилловой гирляндой в гладко причесанных волосах (чудилось, она надела веночек из незабудок), — не просто дама, а... Вот разве что те, кто случайно заглядывал в ее глаза, изумлялись, насколько цвет бериллов совпадал с цветом этих глаз, тоже напоминающих незабудки.

Алексей с досадой качнул головой. Даму в незабудках он нынче не видел. Может быть, просто не разглядел, хотя куда чаще направлял лорнет на ложи и ряды, а не на сцену. А может, она оделась иначе этим вечером? Хотя нет, нет — взор влюбленного узнал бы ее в любом наряде!

А вдруг кто-то заподозрил, что она тайно бывает здесь? И об этом донесли ее мужу? И он увидел в том не чистую страсть к искусству, а нечто предосудительное? И запретил бывать на представлениях?

Нечто предосудительное...

Но что, если и в самом деле так? Что, если она приезжает в театр для удовлетворения некоей тайной страсти? Если ведет ее не любовь к искусству, а любовь к пригожему актеру Алексею Яковлеву? Чёрт бы подрал этого тезку! Известно, что многие женщины из общества по нему с ума сходят и не в силах одолеть сословных предрассудков, согласно которым актеры, пусть даже и самые первостатейные, суть особы презируемые... Говорят, будто сама сестра государя императора, великая княжна Екатерина, девица столь же безрассудная, сколь и красивая, к Яковлеву равнодушна. Беспрестанные наезды великой княжны в театр стали уже притчей во языцех: всякий спектакль посещает, а не только премьерный! Что, если и она?..

Алексей с негодованием качнул головой. Как смеет он подозревать? Как смеет думать такое о ней?!

И тут тоска его взяла, потому что он вообще не смел о ней думать...

Никак!

Обуреваемый этой тоской, Охотников отстал от компании друзей-кавалергардов, которые один за другим усаживались на лихачей (что и говорить, расторопным извозчикам в премьерные дни удавалось озолотиться!) и, миновав две «грелки», кои в студеные вечера нарочно устраивала дирекция театра, свернул в проулок.

Около «грелок» было светло, весело и шумно: так звались особенные круглые беседки, в которых разводили костры, чтобы возле них могли погреться возчики наемных карет, кучера, которые привезли своих господ в театр, а также прислуга. А вот в проулке оказалось темновато — фонари горели через один. Видать, фонарщик нерадивый попался. Обычно они прилежны! Алексей вспомнил, как, приехав в Санкт-Петербург из своей воронежской глухомани и еще не вполне обжившись в большом городе, любил, лишь стемнеет, выйти на улицу, чтобы наблюдать за фонарщиками. Те собирались кучками на перекрестках, пристально вглядываясь в сторону Большой Морской: лишь только там появится сигнальный красный шар на пожарной каланче, как они, взвалив на плечи свои лесенки, отправятся зажигать фонари, прихватив с собой и свитки рогожи. Ею фонарщики прикрывают фонари от ветра, когда засвечивают их.

Сыростью и холодом несло от Невы, но Алексей упрямо шел к набережной. Ему хотелось пройти мимо Зимнего. Если уж не увидел ее вблизи, то хоть издали взглянуть на...

Стук копыт перебил мысли: его нагоняла карета. Объехав Алексея, она остановилась у кромки мостовой, совсем рядом. Дверца приотворилась было, потом снова закрылась. Он из любопытства замедлил шаги, потом почувствовал, что из кареты за ним наблюдают сквозь заднее окошечко. В полутьме колыхнулось что-то белесое, он догадался, что сдвинули занавеску, которая окошко заслоняла, и смотрят на него.

«Хм, как бы не решили, что я струсил, коли замедлился!» — подумал Алексей заносчиво и ускорил шаги, однако тут же сообразил, что его быстрота тоже вполне может быть расценена как паника. Теперь он печатал шаг, словно на параде, и чуть ли грудь колесом не выпячивал. Выглядел, наверное, преглупо, по-